

# ПОЭТИКА СТИХОТВОРЕНИЙ Н. ГУМИЛЕВА В ЧЕШСКОМ ПЕРЕВОДЕ

## ОЛЬДРЖИХ РИХТЕРЕК (ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ)

1. Тема переводческой интерпретации и последующей читательской рецепции творчества парадоксального «рыцаря счастья»<sup>1</sup> и одного из основоположников «неоклассического» русского литературно-культурного течения акмеизма Н. С. Гумилева может, с первого взгляда, казаться очень проблемной. Дело в том, что чешская культурная среда «ортодоксально» подражала общепринятому русскому (прежде всего «советскому») подходу к личности и художественному завещанию этого талантливого писателя, «окутанного» упорным молчанием со стороны официальной культуры, вызванным цензурным запретом после расстрела Гумилева в августе 1921 г.<sup>2</sup> Если в межвоенный период (несомненно, благодаря продолжающемуся чешскому интересу к русскому модернизму и присутствию в чешской культурно-общественной среде немалой диаспоры русской послереволюционной эмиграции) появились даже два сборника гуми-

---

<sup>1</sup> «Рыцарем счастья» называл себя русский поэт Николай Гумилев сам, причем, современниками он нередко обозначался и «рыцарем серебряного века» или «рыцарем стиха», «духа». К этому см.: Щербаков, С.: Рыцарь счастья. В сб.: Гумилев, Н.: Стихотворения и поэмы. Изд. «Звонница-МГ, Москва, 2000, с. 5.

<sup>2</sup> Поэт был обвинен в участии в контрреволюционном заговоре в связи с распространением т. наз. «Кронштадтского восстания» на Петроград, обозначен «явным врагом народа и рабоче-крестьянской революции» и расстрелян 24 или 25(?) или 23(?) августа 1921 г. Молчание о нем длилось почти до конца 80-ых гг. прошлого века. В наплыве разных интерпретаций возможной настоящей виновности Гумилева преобладают (на основе современного доступа к архивным материалам в России) убеждения в его честном поведении, безвиновности и напрасной смерти. Ср., наприм.: Семибратова, И.: Николай Гумилев. В сб.: Бабин, С., Семибратова, И.: Судьбы поэтов серебряного века. Изд. «Книжная палата», Москва, 1993, с. 141.

левских стихов,<sup>3</sup> то следующее скромное упоминание о поэте появилось лишь в освобождающейся атмосфере второй половины 60-ых гг. в удачном сборнике *Kolo inspirace*.<sup>4</sup> В книгу, которую по праву в контексте данного времени можем считать «культурным событием», было включено «даже» шесть стихотворений поэта, однако в высоко компетентном послесловии З. Матхаусера возможно было, как будто между прочим, включить лишь смелую, многозначным подтекстом сопровождаемую заметку об «убедительном поэтическом плоде» Гумилева, не излучающем «идейной неприязни».<sup>5</sup> Приведенный факт можем считать релятивным «успехом», так как еще в 1965 году при издании чешского перевода т. наз. «академической» *Истории русской советской литературы*<sup>6</sup> появилось в четырехтомной обширной работе лишь пять маргинальных упоминаний о Гумилеве, конечно, исключительно только в связи с его вредным «декадентным» влиянием на некоторых молодых поэтов<sup>7</sup>, и в сопутствующих чешских комментариях М. Дрозды, считающихся еще сегодня смелой и самой ценной составной частью данного издания, имя Гумилева, «на всякий случай», вообще не упоминалось.

<sup>3</sup> Я имею в виду, прежде всего, чешский перевод кульминационного сборника автора «Огненный столп». ср.: Gumilev, N. S.: *Ohnivý sloup*. Praha 1932. и книгу: Gumilev, N. S.: *Výbor z díla*. Nakl. J. Otto, Praha 1933 (во второй сб., переведенный З. Спилкой, была даже включена небольшая заметка В. В. Вилинского о Гумилеве). Кроме того, известная переводчица русской поэзии М. Марчанова опубликовала в чешских журналах некоторые избранные стихотворения Гумилева. Это упоминает переводчик Я. Кабичек в своей краткой информации при публикации примеров современных чешских переводов стихов поэта. См.: *Literární noviny* 1995, № 37, с. 13.

<sup>4</sup> *Kolo inspirace*. Ruská básnická moderna. Počátky poezie sovětské. Výběr dobové grafiky. Sv. sovětů, Praha 1967. Работы широкой палитры чешских переводчиков избрали и все издание «в порядок привели» В. Данек и Г. Врбова. Избранные стихи Гумилева переведены опытным чешским переводчиком Я. Кабичеком; книга дополняется блестящим, обстоятельным послесловием выдающегося чешского знатока русской поэзии З. Матхаусера.

<sup>5</sup> Ср.: Mathauser, Z.: *Zlatý věk ruské poezie*. Там же, с. 344.

<sup>6</sup> Ср.: Kol. autorů: *Dějiny ruské sovětské literatury I.-IV.* SNKLU, Praha 1965.

<sup>7</sup> Наприм., в первом томе появилась заметка о том, что стихи Гумилева, которые стали «знаменем реакционного романтизма», плохо повлияли на молодого Э. Багрицкого. Ср.: Там же, т. I, с. 384.

Лет десять спустя удалось Р. Паролеку в книгу *Ruská klasická literatura*<sup>8</sup> (учитывающую тогдашний политический принцип периодизации литературной истории, отделяющий «роковым» рубежом 1917 г., прежде всего, «дореволюционную» и «послереволюционную» культуру) включить в статью о русском модернизме почти две страницы текста с общей характеристикой акмеизма, являющиеся, на самом деле, основной, сжатой информацией о творчестве и поэтике основоположника этого течения, т. е. Гумилева.

Первым более комплексным чешским «взглядом» на нашего поэта, таким образом, стал (к сожалению) лишь сборник его избранных произведений, появившийся в половине 90-ых гг. под более-менее символическим заголовком *Cizí nebe*, заимствованным от названия одной из первых гумилевских книг.<sup>9</sup> Однако части переведенных Я. Кабичеком стихов вместе с частями лучшего до сих пор чешского аналитического эссе, посвященного жизни, творчеству и поэтике Н. Гумилева (автором которого является известный специалист по русской литературе И. Гонзик) появлялись на самом деле уже раньше.<sup>10</sup> Тот же автор отвел Гумилеву самостоятельную главу в своей книге *Dvě století ruské literatury*.<sup>11</sup> В связи с чешским изданием приведенного сборника были напечатаны и некоторые критические рецензии, подчеркивающие у Гумилева, между прочим, традиции стиля и семантических черт творчества Дж. Лондона (именно склонность к авантюризму, экзотике и очарованию путешествием) и Ш. Бодлера (особенно склонность к иронии, гримасе или даже насмешке и фор-

<sup>8</sup> Parolek, R., Honzík J.: *Ruská klasická literatura (1789-1917)*. Svoboda, Praha 1977, с. 464-465.

<sup>9</sup> Ср. Gumiljov, N.: *Cizí nebe*. Přel. J. Kabíček, doslov J. Honzík. Mladá fronta, Praha 1995. В книгу, конечно, включены избранные стихотворения почти из всех сборников Гумилева.

<sup>10</sup> См.: Honzík, J.: *Předmluva k překladu Gumiljovových básní do češtiny*. Informační bulletin ČAR, 1992, № 3, с. 39-46, № 4, с. 45-50, Informační bulletin ČAR, 1993, № 6, с. 48-57. Переводчик Кабичек публиковал, кроме того, некоторые свои переводы стихов Гумилева уже в газете *Lidové noviny* от 18. 7. 1991, с. 8; потом параллельно и в других газетах и журналах. Ср., наприм.: *Lidové noviny* от 14. 9. 1995, с. 13; *Lidové noviny* от 14. 10. 1995, с. XVI; *Mladá fronta* от 29. 11. 1995, с. 19; *Souvislosti* 1995, № 2, с. 155-168; *Souvislosti* 1997, № 2, с. 85.

<sup>11</sup> Ср.: Honzík, J.: *Gumiljov redivivus*. В кн.: Honzík, J.: *Dvě století ruské literatury*. Torst, Praha 2000, с. 266-291.

мальной изысканности). Чешские критики акцентируют тоже способность Гумилева находить в образах действительности собственные взгляды на окружающий нас мир и более глубокие, внутренние связи, прежде всего, находить в конкретных мгновениях жизни людей и природы тайну «вечной жизни». В связи с этим критиками высоко оценивается способность поэта создавать подтекстовые намеки, придающие его стихам ассоциативную семантическую глубину.<sup>12</sup> Вскоре после того появился «новый» словарь русских писателей, в который включена осведомленная статья Д. Кшицовой (одного из видных чешских знатоков русской поэзии перелома XIX – XX вв.), резюмирующая основные чешские представления о жизни и творчестве Гумилева.<sup>13</sup> Кшицова касается нашего поэта и в других своих работах, посвященных проблематике русского модернизма.

2. Несмотря на то, что современное чешское общественно-культурное сознание о Гумилеве нельзя, таким образом, назвать «всеохватывающим», в атмосфере определенного всеобщего падения интереса к поэзии и все еще продолжающейся «переоценки» чешского подхода к русской литературе<sup>14</sup> оно может уже всё-таки опираться и на серьезные информации о данном авторе и своеобразии его художественного мастерства, и на качественную переводческую интерпретацию его избранных стихотворений. Прежде чем подойти к попыткам анализировать некоторые конкретные проблемы чешских переводов стихов данного поэта, необходимо, на мой взгляд, коснуться хотя бы вкратце некоторых различительных знаков его поэтики.

2.1. Стихи Гумилева в связи с общей тенденцией акмеистического подхода к художественному высказыванию наделены «*совершенством формы, магией слов, сильными, бодрыми мотивами свежей, не надломленной, даже первобытной силы*»<sup>15</sup>. Однако было бы ошибочным лишь поэтому обозначать поэта Гумилева только «чистым

<sup>12</sup> Ср.: Pokorný, M.: Gumiljov žili Francouz v manželách se představuje. Mladá fronta Dnes от 29. 11. 1995, с. 19. Piša, V.: Cizí nebe, cizí slunce. Tvar 1996, № 5, с. 22. Magid, S.: Lev Gumiljov, předposlední eurazijec. Souvislosti 1995, № 2, с. 70-80. Gabriel, J.: Básníkovo cizí nebe. Literární noviny от 6. 3. 1996, с. 10.

<sup>13</sup> Ср.: Pospíšil, I. a kol.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. LIBRI, Praha 2001, с. 250-252.

<sup>14</sup> Я убежден в том, что намеченная «переоценка» завершается объективным чешским представлением о настоящих ценностях русской литературы.

<sup>15</sup> К этому см.: Семибратова, И.: Николай Гумилев..., цит. произв., с. 147.

лириком». И. Гонзик симптоматически отметил, что в его творчестве, кроме лирических мотивов, всегда появлялась «стихийная тенденция к повествованию и диалогически настроенным формам высказывания»<sup>16</sup>, в которых, на мой взгляд, нетрудно найти и «веру в чудо, влюбленность в чары красоты»<sup>17</sup>, мотивы чистой любви, страстей, поиск счастья, смешанный нередко с «насмешливым взглядом женских глаз»<sup>18</sup> и с увлечением поэта упомянутыми выше экзотическими путешествиями, особенно по «любимой» им Африке.<sup>19</sup> Сравним в качестве примера хотя бы несколько строчек из стихотворения «Жи́раф» (из сб. «Романтические цветы» от 1908 г.), написанных Гумилевым еще до первой поездки в Африку: «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд/ и руки особенно тонки, колени обнав./ П послушай: далеко, далеко, на озере Чад/ Изысканный бродит жираф./ Ему грациозная стройность и нега дана,/ И шкуру его украшает волшебный узор,/ С которым равняться осмелится только луна,/ Дробясь и качаясь на влаге широких озер.»<sup>20</sup>

Конкретные, предельно прозрачные образы со временем, однако, приобретали симптоматичный, чуть не скептически амбивалентный подтекст в рассуждениях наблюдателя, утомленного и, может быть, даже разочарованного углубляющимся жизненным опытом и осознанием горькой взаимосвязи простоты и сложности человеческой жизни в связи с бегством времени. Именно эти «подтекстовые намеки», раскрытые, между прочим и современной чешской критикой (см. выше), являются, по моему мнению, доминантным «катализатором» вневременной злободневности и убедительной художественной ком-

<sup>16</sup> См. к этому: Honzík, J.: Gumiljov redivivus..., цит. произв., с. 288.

<sup>17</sup> Семибратова, И.: Николай Гумилев..., цит. произв., с. 142.

<sup>18</sup> Эту симптоматическую гумилевскую деталь упоминает Д. Кшицова. См.: Sp.: Pošpišil, I. a kol.: Slovník ruských..., цит. произв., с. 251.

<sup>19</sup> Гумилевское увлечение путешествиями, в особенности по Африке, занимало важное место не только в творчестве, но и в самой жизни автора. Кроме множества вдохновляющих импульсов для художественных образов в своих стихах он собрал много ценных информации о фольклоре и быте тамошней территории, и привезенные им этнографические коллекции хранятся до сих пор в музеях Санкт-Петербурга. (Последнее, т.е. третье и самое удачное путешествие в 1913 г. Гумилев осуществил даже при поддержке Академии наук.)

<sup>20</sup> Гумилев, Н.: Стихотворения и поэмы..., цит. произв., с. 29. Дальнейшие ссылки на это издание приводятся мной в скобках прямо в тексте статьи.

муникативности гумилевских стихов сегодня, в начале XXI века. Сравним, например, отрывок из стихотворения «Шестое чувство» (из сб. «Огненный столп» от 1921 г.): «Прекрасно в нас влюбленное вино/ И добрый хлеб, что в печь для нас садится,/ И женщина, которую дано,/ Сперва измучившись, нам насладиться./ Но что нам делать с розовой зарей/ Над холодеющими небесами,/ Где тишина и неземной покой,/ Что делать нам с бессмертными стихами?! Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать./ Мгновение бежит неудержимо./ И мы ломаем руки, но опять/ Осуждены идти все мимо, мимо.» (203)<sup>21</sup>

3. С точки зрения художественного перевода доминантной проблемой является идентификация и эквивалентная интерпретационная «передача» тех намеченных стилистических и семантических особенностей, которые представляют собой суть своеобразной поэтики Гумилева. Эта задача относительно проще, на мой взгляд, при переводческом трансфере ранней поэзии автора или особенно при иноязычной интерпретации его интимной лирики, посвященной, в большей степени, будущей (или даже бывшей) супруге А. Ахматовой. Любовь в гумилевском восприятии здесь отличается нередко «страстью и жестокостью», приближающейся к «кровежадности гиены» и «мотивам дьявола» американского прозаика Э. А. По.<sup>22</sup> Сравним, например, сколько нежной силы и одновременно сильной страсти таится в одной детали следующего отрывка: «Я люблю – как араб в пустыне/ Припадет к воде и пьет,/ А не рыцарем на картине,/ Что на звезды смотрит и ждет.» (135)<sup>23</sup> Я. Кабичек в своем переводе, напечатанном уже в 1967 г., слегка упростил семантический «заряд» сцены, хо-

<sup>21</sup> Прозрачная, акменстически «классическая» простота деталей напоминает мне, между прочим, об атмосфере семантики в стихотворении «Что делать нам с убитостью равнин», автором которого был дальнейший известный представитель русского акмеизма О. Мандельштам. Оба поэта, между прочим, «пророчески» говорили о своей будущей судьбе, будто предчувствуя трагическую ее развязку. Ср. к этому в моей работе: Рихтерек, О.: Метафора О. Мандельштама в компаративистском аспекте чешского перевода. В сб.: Litteraria Humanitas XII. Moderna – avantgarda – postmoderna. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003, с. 191-199.

<sup>22</sup> Такими меткими словами характеризовала раннюю лирику Гумилева Д. Кшицова. Ср.: Pospíšil, I. a kol.: Slovník ruských..., цит. произв., с. 250.

<sup>23</sup> Отрывок приведен из стихотворения «Я и вы» из сборника «Костер», изданного в 1918 г.

тя основная сила страсти в ней, благодаря некоторым субституционным поправкам, сохранена: „*Miluji s žízni beduňna/ dorazivšho k oáze/ ne jako rytíř, který spíná/ ruce na bledém obraze.*“<sup>24</sup> Сила любви, воплощенная в жажде африканского араба (конкретизированного в чешском варианте текста прямо «бедуином») в переводе сохраняется, и элиминация «звезд», на которые рыцарь пассивно смотрит в оригинале, субституирована, по моему мнению, очень удачно «сложенными руками» на «бледной картине». Позитивный результат подобных интерпретационных подходов зависит, конечно, от общепонятных (для русского и чеха) и, на самом деле, с точки зрения семантики идентичных значениях применяемых художественных деталей.

Аналогично напрашивается ряд других примеров. Сравним, например, отрывки из стихотворения «Она», появившегося в сборнике «Чужое небо» (в 1912 г.): «*Я знаю женщину: молчанье,/ Усталость горькая от слов/ Живет в таинственном мерцанье/ Ее расширенных зрачков./ Ее душа открыта жадно/ Лишь медной музыке стиха,/ Пред жизнью дольней и отрадной/ Высокомерна и глуха./... ..Когда я жажду своеволий/ И смел и горд – я к ней иду/ Учиться мудрой сладкой боли/ В ее истоме и бреду./ Она светла в часы томлений/ И держит молнии в руке,/ И четки сны ее, как тени/ На райском огненном песке.*» (62-63) Субъективно украшенные детали (например, антистетическое «мерцанье молчанья» и «медной музыки стиха»), связанные генетически с гумилевской характеристикой А. Ахматовой, не затрудняют чешскую рецепцию отрывка даже жителю, который не знает об их жизненной взаимосвязи. Аналогично понятен перевод эмоционально насыщенного отрывка «я к ней иду учиться мудрой сладкой боли в ее истоме и бреду», хотя переводчику пришлось (ради сохранения хрустальной чистоты чувств в данном семантическом просторе и музыкальности стихов) креативно «перестроить» характер исходного русского текста (к сожалению, при помощи частично осложненной гумилевской простоты языка): «*spěchám k ní učít se moudré, sladké roli: zmalátnět, vzdát se blouznění.*»<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ср.: Kolo inspirace..., цит. произв., с. 154.

<sup>25</sup> Чешский перевод отрывка следующий: «*Znám jednu ženu: ráda mlčí,/ únava ze slov tyranských/ tajemně mihotá ji v očích/ nebo se hořce klene v nich./ Jen hudbu veršů k žízni ducha/ propouští její samota;/ a povýšená je a hluchá/ k pozemským slastem života./... ..Kdykoli tihnu ke svévoli/ smělý a hrdý – spěchám k ní/ učít se moudré, sladké roli:/ zmalátnět, vzdát se blouznění./ Je světle v dnech mé teskliviny,/ blesky má za hry nevinné/ a její sny jsou ostré jako stíny/ na žhavé rajske písčine.*» Цит. по: Ср. Gumil'ov, N.: Cizí nebe..., цит. прозв.,

3.1. Перевод кульминационной поэзии Гумилева нуждается, конечно, не только в более компетентном подходе переводчика, но также в более «зрелом» иноязычном реципиенте. Суть основной проблемы следует искать, с одной стороны, в переводческом мастерстве волющения всего ассоциативного богатства лишь фиктивно простого семантического пространства оригинала средствами языка принимающей культуры. С другой стороны, с точки зрения читателя-реципиента необходимо учитывать соответствующий уровень его общих знаний, способствующих адекватному декодированию упомянутого амбивалентного богатства, так как в обратном случае решающая часть художественной и общечеловеческой информации может до этого читателя не дойти.

В качестве иллюстрационного примера посмотрим коротенький отрывок из стихотворения «Заблудившийся трамвай», включённого в лучший сборник поэта «Огненный столп» от 1921 г. В семантически насыщенной картине многозначимо переплетаются скептические ощущения автора (опирающиеся на хаотический бег событий первого двадцатилетия XX в. в мире и, особенно, в России, где их трагический характер достиг масштабных размеров) с собственным разочарованием, ощущаемым утомлением и роковыми предчувствиями «вечного странника», своеобразного «мечтателя и воина» Николая Гумилева<sup>26</sup>. Для адекватного дешифрирования семантического макрокосмоса всей сцены реципиенту нужны, кроме способности охватить все намеченные факты, и основные информации о некоторых реалиях и достопримечательностях Петрограда, представляющих «кулисы» данной сцены. «Понял теперь я: наша свобода –/ Только оттуда бьющий свет,/ Люди и тени стоят у входа/ В зоологический сад планет./ И сразу ветер знакомый и сладкий,/ И за мостом летит на меня/ Всадника длань в железной перчатке/ И два копыта его коня./ Верной твердынею православья/ Врезан Исакий в вышине./ Там отслужу молебен о здравье/ Машеньки и панихиду по мне./ И все ж навеки сердце угрюмо,/ И трудно дышать, и больно жить.../ Машенька, я никогда не думал,/ Что можно так любить и грустить» (209). Для того чтобы добиться основной коммуникации с читателем, переводчику Кабичеку пришлось пойти на ряд компромиссов и применить в переводном тексте некоторые субституционные подходы, так

---

с. 47.

<sup>26</sup> Ср. к этому: Семибратова, И.: *Николай Гумилев...*, цит. произв., с. 145.



как «межпространственный аспект перевода»<sup>27</sup> играет в данном случае значительную роль. Если в первой части отрывка лексические сдвиги в конце концов создают эквивалентный «общечеловеческий» семантический простор («*Chápu ted', že chltí svobodu/ je totéž jako se-vřít duhu,/ že jsme jen stíny u vchodu/ do vesmírného zvěrokruhu*»),<sup>28</sup> понятный зрелому чешскому реципиенту с соответствующим жизненным опытом бесппроблемно, то следующие три строфы могут вызвать при встрече с ним определенный информационный «шум». С одной стороны, он может в значительной степени осознать подтекст магической детали «медного всадника» (т. Памятника Петру I), хотя символика его «*длани в железной перчатке*», раздробленная в чешском метатексте только в более нейтральную деталь «*jezdce s napjatou pravíci*» не содержит для чеха адекватные русские ассоциации. Аналогически нельзя эквивалентно перенести в чешскую культуру совокупность физических и психологических ощущений и настроений, напрашивающихся русскому в «*знакомом и сладком ветре*», так как они опираются на своеобразное место «ветра» в русском климатическом просторе и на символически многозначимую сущность мотива ветра в русском искусстве. Его богатые и в русской культуре многократно художественно обработанные коннотации не содержатся в чешском «*přejíám větru*», несмотря на то, что переводчик стремился возникающие диспропорции элиминировать «*sladce známým obrazem řeky a mostu*». Если символ Исаакиевского собора – одной из самых известных доминант Санкт-Петербурга – в чешской среде частично (конечно, без традиционных русских коннотаций) распознаваемый, и «*prosebná mše*» почти адекватно субституирует православный «*молебен*» и «*rekviem*» русскую «*панихиду*» (хотя «*палитру*» их семанти-

<sup>27</sup> Термин «межпространственный аспект перевода» применяется, наприм., известным словацким теоретиком А. Поповичем при характеристике существующих различий между культурными системами оригинала и перевода, создающих между ними чувствительное напряжение. Ср.: Popovič, A. a kol.: Originál – preklad. Interpretatná terminológia. Tatran, Bratislava 1983, с. 184.

<sup>28</sup> Сравним весь чешский перевод приведенного отрывка: «*Pojednou vítr přejí-cí/ řeka, most, obraz sladce známý:/ jezdec s napjatou pravíci,/ dvě koňské nohy s podkovami./ Ve zhmotnělou tvrz pravoslavi/ Izákův chrám zdá se proměněn./ Prosebnou mši za Mášino zdraví/ dám tu sloužit, a za sebe – rekviem./ V srdci je zasmušilost odvěká, těžko se dýchá a žije ještě hůř.../ Mášenko, skoro jsem zapomněl už,/ že je možné tak milovat člověka.*» Перевод Кабичека цитирован по: Kolo inspirace..., цит. произв., с. 195.

ки нельзя считать эквивалентной), то намеки на Машеньку приобретают в чешском тексте лишь общий облик болезненной потери близкого и милого человека.<sup>29</sup> Семантическая эквивалентность, по моему мнению, в конце отрывка (одновременно и стихотворения) в высокой мере сохраняется, хотя «удельный вес» заключительной фразы «я никогда не думал, что можно так любить и грустить» переносится не только частично уже на второй стих данной строфы («*těžko se dýchá a žije ještě hůř*»), но тоже ослабляется элиминацией в подлиннике эксплицитно высказанной русской «грусти» и обобщенной фразой «*skoro jsem zapomněl už, / že je možné tak milovat člověka*».

Чешский переводчик Я. Кабичек очень четко осознавал сложность адекватного переноса данного семантического простора в чешскую принимающую культуру. Об этом свидетельствуют, между прочим, его переводческие «возвращения» к тексту и поправки, внесенные им в новый вариант переведенного стихотворения.<sup>30</sup> С одной стороны, исконно русский ветер («*знакомый и сладкий*») приобрел, к сожалению, витиеватую форму «*sladce vibrující*», хотя, с другой стороны, переводчику удалось более чувствительно соблюсти (отсутствующий в первом варианте) «динамизм» оригинала, в котором символический городской пейзаж прямо «летит» на поэта (при помощи выражения «*k očím míří mi*») и при помощи поэтического «оживления» мифологического символа Санкт-Петербурга и всей русской истории – «*копыта коня*» медного всадника). Семантика простого гумилевского констатирования, в котором таится роковая долговечность настроения души поэта («*и все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить*»), сохранена в новом варианте перевода более верно, хотя опять ценой углубления «витиеватости» акмеистически прозрачного языка Н. Гумилева: «*srdce buší ponuře jak kdysi, tíží dýchat, bolí životem se brát...*». Искренне старательная работа переводчика наглядно подтверждает упомянутый выше «больно компромиссный» характер пере-

<sup>29</sup> Речь идет, вероятно, о М. А. Кузьминой-Караваевой, умершей от туберкулеза в 1912 г. См.: Гумилев, Н.: Стихотворения и поэмы..., цит. произв., с. 208.

<sup>30</sup> Ср.: «*Náhle vítr sladce vibrující / a známý most k očím míří mi / jezdec s dlaní v mědňé rukavici / na koni, jenž hrabe předními. / Jak zhmotnělá bašta pravoslavní / Izákův chrám tyčí se, to vněm / prosebnou mši za Mášino zdraví / sloužit dám, a sobě rekviem. / Srdce buší ponuře jak kdysi / tíží dýchat, bolí životem se brát... / Mášenko, věř, nikdy nepomyslel bych si, / že je možno takhle trpce milovat.*» См.: Gumiljov, N.: Cizí nebe..., цит. произв., с. 136.

водческих субституций<sup>31</sup>, особенно при интерпретации тех поэтических образов, хрустальная простота которых в значительной мере зависит от амбивалентного богатства семантического подтекста.

4. Приведенные примеры перевода стихов Н. Гумилева ни в коем случае не исчерпывают проблематику чешской интерпретации поэтики этого поэта. По поводу моих критических примечаний к работе Я. Кабичека мне хотелось бы подчеркнуть, что его чешский вариант гумилевской поэзии я считаю высоко компетентным и эквивалентным. В нем адекватно раскрывается богатство оригинального текста; чешскому реципиенту приближается, таким образом, единичное свидетельство о великом поэте, о сложной эпохе русской и мировой истории, о не сбывшихся человеческих мечтаниях, о великом мастерстве высказываться при помощи простых естественных деталей о великих и существенных проблемах человеческой жизни. Переводы поэзии Н. Гумилева способствовали чешскому убеждению о важном месте поэта в истории русской литературы, способствовали воссозданию более комплексного образа русской поэзии и трагической сложности судьбы России и человечества в недавно завершённом XX веке. Одновременно они подсказывают нам необходимость возвращений и новых подходов, так как скрытые в них человеческий опыт и завещание способствуют (хотя, может быть, лишь частичному) раскрытию самого «человеческого существа и его жажды гармонии, смирения и понимания»<sup>32</sup>. Именно поэтому мы можем, по праву, считать поэзию Николая Гумилева злободневной и в сфере современного чешско-русского межкультурного диалога.

---

<sup>31</sup> Этого вопроса я уже несколько раз касался, ср., наприм.: Richterek, O.: *Dialog kultur v uměleckém překladu. Příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům*. Hradec Králové 199, с. 141-142.

<sup>32</sup> Этими четкими словами характеризовал значение Гумилева его чешский знаток И. Гонзик. Ср.: Honzik, J.: *Doslov*. В кн.: Gumiljov, N.: *Cizí nebe...*, цит. произв., с. 155.

### **Zusammenfassung**

Die Arbeit geht von einer Komparationserfahrung, die sich auf die Untersuchung der tschechischen Übersetzungen der anderen Darstellern des russischen Akmeismus (A. Achmatowa, O. Mandelscham) stützt, aus. Der Verfasser vergleicht die distinktiven Zeichen von der Gumiljovs Poetik und gleichzeitig prüft manche gewählte Probleme der tschechischen Übersetzungsinterpretation und Rezeption der Werken dieses russischen Dichters.